

П. Е. Бухаркин

## РИТОРИКА М. В. ЛОМОНОСОВА И КЛАССИЧЕСКАЯ ТРАДИЦИЯ В РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ<sup>1</sup>

В статье рассматриваются восточноевропейские риторические трактаты XVII – начала XIX веков. Основное внимание уделяется Риторике М. В. Ломоносова и ее роли в смене языкового кода классической литературной традиции в России.

*Ключевые слова:* Ломоносов, риторика, классическая традиция, трактат, античная литература, латынь, церковнославянский язык, русский язык.

### 1

Риторика Ломоносова, т. е. его интерпретация классической риторической теории, представлена прежде всего трактатом «Краткое руководство к красноречию» (1748). Сочинение это важно многими сторонами: теоретической (решением риторических проблем – и не только риторических, но и филологических, например грамматических); языковой (в широком смысле – местом в процессах осуществляемого его автором формирования нового литературного языка, в более узком – заключенном в нем материале, позволяющем поставить вопрос о разных типах стилистической дифференциации в этом еще только возникающем языке, в еще более конкретном – ролью в создании русской научной терминологии); наконец – непосредственно литературной. Среди ряда проблем, возникающих при рассмотрении «Краткого руководства к красноречию...» в последнем, литературном, аспекте, весьма продуктивной своей научной значимостью является осуществленная в нем переориентация литературного сознания с одного языкового воплощения классической литературной традиции на другое.

При всей расплывчатости и даже неопределенности собственного содержательного ядра (что во многом связано с крайней

---

<sup>1</sup> Статья написана при финансовой поддержке гранта РГНФ № 12-04-0109а «Исследование риторических трудов М. В. Ломоносова (лингвистический и историко-культурный аспекты)».

В работе над 4-й и 5-й разделами большую помощь мне оказал К. Н. Лемешев, поделившийся со мной своими материалами и наблюдениями. Приношу ему самую искреннюю благодарность.

многозначностью исходного для нее понятия классики) классическая традиция все же (и со множеством оговорок) может быть определена как некая совокупность безусловно и безоговорочно образцовых текстов, заключающих в себе абсолютно совершенную степень мимесиса. Именно абсолютно совершенную; им – этим абсолютным совершенством – и обуславливается (воспользуясь словом Ф. А. Степуна, слегка грамматически измененным) «тайное предчувствие того, что *мир искусства выше мира жизни*» (Степун 1998: 84), предчувствие, позволяющее опознать произведение как относящееся к классической традиции. Классика потому и классика, что являет человеку «подлинную жизнь», показывая, что «действительная же жизнь – лишь бледная подмалевка. <...> То, что в жизни мелькает лишь бледной тенью, становится в искусстве незыблемым кряжем первозданных пород» (Степун 1998: 84)<sup>2</sup>. Поэтому классическое искусство и остается ориентиром для все новых и новых творческих усилий. До тех пор, пока не происходит «релятивизация» абсолютного идеала, как определил в 1923–24 годах данное событие Л. В. Пумпянский; с этого момента классическая традиция, не уходя из литературного сознания, переносится в область прошлого (см.: Пумпянский 2000: 30–31).

В западном мире, начиная с раннего Средневековья, классическая традиция была неотделима от памяти об античной словесности; «отношение к античности есть душа такой (т. е. классической. – П. Б.) литературы» (Пумпянский 2000: 30). Это в равной степени относится как к Средневековью, так и к гуманизму / постгуманизму, хотя выражалась такая ориентация на античность по-разному в Средние века и начиная с Ренессанса; Ренессанс в предельно существенной мере изменил, так сказать, феноменологию рецепции античности, не затронув, однако, самого принципа: литературные (и, как показал Э. Панофски (1998: 42–100), не одни литературные) образцы как в Средневековье, так и после него (до самого конца классической эпохи, т. е. до XVIII века) соотносились с античностью. Среди других, подтверждающих данное положение и культурно релевантных фактов можно указать на отмеченную С. С. Аверинцевым замкнутость средневековой риторики на античном материале; Аверинцев, продемонстрировав это на византийских примерах, пришел к следующему выводу: «чтобы описывать,

---

<sup>2</sup> В тексте Степуна последовательность предложений несколько иная.



анализировать и оценивать произведение, византийская риторическая теория должна была для начала найти для него место в одной из рубрик заимствованной у античности формально-жанровой номенклатуры» (Аверинцев 1996: 248). Заключение это возможно – естественно, с рядом уточнений и пояснений – перенести и на западнохристианскую риторику; во всяком случае, материал, приведенный Э.-Р. Курциусом в 14-м разделе («Классика») его знаменитой книги «Европейская литература и латинское Средневековье» (Курциус 2007: 274–299) скорее подтверждает возможности подобного переноса, нежели отвергает его. Применительно же к Ренессансу и постренессансному искусству положение об их ориентации на античность едва ли нуждается в особых подтверждениях.

## 2

Иначе обстояло дело в *Pax Slavia Orthodoxa*<sup>3</sup>; в восточнославянской средневековой книжности для классической традиции места почти не находилось. Два обстоятельства, прежде всего, делали ее несущественной. Во-первых, малая осведомленность восточных славян в античном наследии; даже не одна малая осведомленность, но, главное, едва ли не полное отсутствие к нему интереса. Конечно, отдельные имена и факты античного словесного искусства, некоторые восходящие туда литературные стратегии в литературу XI–XVI веков проникали; более того, в отдельные периоды происходила их своеобразная концентрация. Однако в целом античные авторы совершенно не занимали в ней позиции, даже приблизительно похожей на принадлежащую им в западной литературе, или, совсем в ином воплощении, в византийской (см.: Буланин 1991; Кнабе 1999). Во-вторых, крайне не развитая рефлексия о словесном творчестве. Древнерусский книжник, естественно, мог задумываться (и задумывался) над отношением создаваемого им сочинения к произведениям других авторов. Но его размышления носили, обычно, частный, так сказать, случайный, характер, касались его ориентации на какой-либо конкретный предшествующий текст (или, напротив, отталкивания от него), или ограничивались размышлениями над особенностями одного жанра. Кроме того, они имели, если так можно выразиться, не вполне рационализиро-

<sup>3</sup> Содержание данного понятия понимается мною в духе работ Р. Пиккио (см.: Пиккио 2003).

ванной и никак не систематизированный характер; обычно все ограничивалось отдельными замечаниями по отдельному же поводу. О литературной традиции как таковой средневековый восточнославянский литератор не думал; он о ней попросту не знал.

Два этих фактора (в соединении с другими причинами, о которых сейчас можно умолчать) и определили отсутствие в древнерусской литературе классической традиции – как некой совокупности образцовых авторов, причем образцовых именно как авторов, чья образцовость не совпадает с образцовостью жанровой, а находясь в несколько иной плоскости, не противоречит жанровым парадигмам, но дополняет их<sup>4</sup>. Представление о ней (т. е. о классической традиции) появляется у восточных славян только тогда, когда исчезают отмеченные выше обстоятельства (игнорирование античной культуры и слабо выраженная рефлексия) – если и не исчезают вполне, то, во всяком случае, утрачивают прежнюю свою влияние. Это происходит в первой половине XVII столетия и связано с приобщением восточных славян к европейской риторической традиции<sup>5</sup>. Появление риторических трактатов неизбежно повлекло за собою зарождение понятия о классической традиции.

Как известно, восточнославянские риторические трактаты создавались – сначала на Западной Руси, затем и в московском культурном пространстве, куда они относительно быстро были перенесены с Украины и Белоруссии – преимущественно на двух языках: латинском и церковнославянском (тексты на греческом языке составляли единичные исключения, как, например, риторика Иоанникия и Софрония Лихудов). В обоих языковых вариантах с обязательностью должны были присутствовать образцовые авторы и такие же образцовые примеры, иллюстрирующие те или иные риторические позиции. Примеры были необходимы в особой степени: риторический трактат по своей природе предполагал включение их в себя. Отвлеченные рассуждения, для того чтобы быть усвоенными, а затем использоваться как продуцирующие модели в личной речевой

---

<sup>4</sup> На соединение (не лишенное некоторой диалектичности) двух принципов – жанрового и авторского (т. е. индивидуального) – в пределах классической традиции указывал Э.-Р. Курциус (Курциус 2007: 275).

<sup>5</sup> Вопрос о степени осведомленности средневековой восточнославянской книжности в античной риторике весьма дискуссионен. Я исхожу из того понимания данной проблемы, которая представлена в работе Д. М. Буланина (Буланин 1991).



деятельности, нуждались в избыточном разъяснении, которое и предоставляли литературные иллюстрации. Риторический трактат учил построению правильных текстов двояким способом: с помощью правил, экспликация которых составляла, так сказать, «теоретическую» часть трактата, и с помощью образцов, заимствованных (в виде фрагментов разного объема) у наиболее авторитетных авторов. Кроме того, примеры, призванные быть предметом сознательного подражания в собственном словесном творчестве, демонстрировали, так сказать, сущность образцовости: они позволяли понять, почему тот либо другой автор оказывался причисленным к классикам, какие черты текста делают его сочинение классическим. С некоторой натяжкой, но можно сказать, что именно иллюстрации риторических правил проясняли (разумеется, весьма относительно) понятие классической традиции, позволяя судить об основаниях включения в нее того или другого автора.

Все это должно было быть. Но в какой степени и, главное, с какой мерой убедительности подобное долженствование реализовывалось в обоих языковых типах восточнославянских риторических сочинений?

### 3

Латиноязычные восточнославянские риторика всем требованиям соответствовали если и не полностью, то, несомненно, во вполне удовлетворительной степени<sup>6</sup>. Их читатели, а вернее, слушатели курсов, письменным вариантом которых данные трактаты в абсолютном своем большинстве и являлись, по существу впервые в *Pax Slavia Orthodoxa* начинали осознавать границы и содержание классической традиции, более того, понимать, что она из себя представляет. Неизвестное доселе античное литературное наследие в виде литературных иллюстраций риторических сочинений стало проникать в культурное сознание интеллектуалов. Причем язык риторических трактатов, о которых сейчас идет речь, – латынь – приводил к тому, что с классической традицией начинали, так или иначе, соотноситься едва ли не все авторы, отрывки из произведений которых в них содержались: не только античные писатели в собственном смысле и прямо их продолжавшие новолатинские сочинители,

---

<sup>6</sup> Их описание и характеристику некоторых сторон латиноязычных трактатов см.: Маслюк 1983; Сивокінь 2001.

но и книги Священного Писания, восточные Отцы Церкви (писавшие по-гречески, но тут представленные, естественно, в латинских переводах), а также фрагменты, специально написанные авторами трактатов для подтверждения теоретических формулировок. Все эти тексты (а иллюстративные примеры обычно обладали, особенно если были относительно развернутыми, как смысловой, так и речевой целостностью и поему имеют все основания быть определены как тексты) существенно отличались друг от друга и временем создания, и теми конкретными литературными традициями, которые они в себе несли, и духовно-интеллектуальным смыслом, но, тем не менее, они воспринимались (и составителем и читателями) как явления одного порядка. Недаром они приводились, так сказать, в общем ряду. Достаточно выразительный пример этого дает раздел 8 («О языковых фигурах, способствующих красноречию») четвертой книги («О языковом и стилистическом оформлении») курса Феофана Прокоповича «De arte rhetorica...» (1706–1707). Рассматривая в нем фигуры речи, Феофан, в качестве наглядных разъяснений к фигуре, названной им «характеристика», упоминает «Характеры» Феофраста, приводит два отрывка из Цицерона (из речей «Против Пизона» и «В защиту Сестия»), один – из Св. Григория Назианзина («Против Юлиана-отступника»), а затем – свой собственный опыт, представляющий инвективу на католических монахов, причем он явно ориентируется на только что приведенные им речи Цицерона, на что указывает сам в завершении отрицательной своей характеристики<sup>7</sup>.

Подобного рода подход позволял представить классическую традицию в виде необходимого эпохе синтеза трех различных начал: античной литературы, с которой и связывалась классика в западном литературном сознании, православной традиции, необходимой восточным славянам в качестве единственной носительницы духовного авторитета и злободневной современности. Тем самым эта традиция становилась как бы стержнем словесной культуры; в ее пределах оказывалось возможным решение основных стоящих перед нею задач и, одновременно с этим, она обеспечивала созданным в ее рамках произведениям высокий статус, безусловный и неоспоримый. Причем главным

---

<sup>7</sup> См. о месте античных авторов в риториках и поэтиках XVII – начале XVIII веков: Трофимук 2013: 166–192.



и основным критерием, определяющим принадлежность к классической традиции, был язык – латынь.

Такое решение проблемы имело множество достоинств, однако сопровождалось и недостатком, притом грандиозным: классическая традиция оказалась оторванной от словесного творчества на родном языке. Ситуация во многом напоминала ту, что сложилась в Западном Средневековье, но с рядом существеннейших отличий. Во-первых, восточнославянская культура XVII – начала XVIII веков, при всей активности процессов европеизации западных (украинских и белорусских) земель, не была пропитана латинской образованностью в такой степени, как средневековая Европа. Античная литература – даже не она сама, а та ее христианизированная мутация, которую она претерпела еще в поздней античности – ни в коей мере не была там культурным фундаментом; ее знал, ценил и развивал в неолатинском ее варианте лишь тонкий слой ценителей-интеллектуалов. Во-вторых, для восточных славян латинский язык был языком образованности; языком веры – своей веры – он не был. В Западной Европе до XVI века ситуация была другой: латынь была одновременно и языком религии, и языком культуры, и языком прошлого; в католическом мире она ничего не разъединяла, а лишь соединяла. В северо-восточной части *Rex Slavia Orthodoxa* (т. е. в русской – в широком смысле – его составляющей) положение было совершенно противоположным: латинский язык именно разъединял, он представлял собою иное начало, нежели своя культура и собственное прошлое – начало польское и католическое. Здесь стоит вспомнить крайне настороженное (выражаясь предельно мягко) отношение к набирающей силу латинизации словесности со стороны Ивана Вишенского (см.: Грабович 1997: 260–277), и не его одного. Позиция Ивана Вишенского в данном случае находит некоторую параллель в деятельности просвещенных магнатов – защитников православия в конце XVI века, в первую голову – кн. В.-К. Острожского (см.: Яковенко 2006: 201–213). И хотя итогом этой настороженности было как раз активное распространение латыни в Украине XVII столетия, что особенно заметно в образовательной политике того же В.-К. Острожского, латинский

язык все же оставался языком *не своей культуры*. Даже для украинцев и белорусов; тем более это относится к Москве<sup>8</sup>.

## 4

Подобного рода проблем риторики на церковнославянском языке, естественно, не знали. В них язык выполняет роль кода, обеспечивающего идентификацию вводимой его посредством новой культурной информации как соответствующей национальным основам. Риторика, тем самым, не отторгалась, а, напротив, принималась; противоречий между усвояемой риторикой и национальной традицией не возникало. Вернее, подобные противоречия имели место, но скорее как случаи частного, индивидуального отвержения нового, незнакомого, а не как принципиальная реакция культурного сознания. Особенно здесь показателен пример старообрядцев. Крайне резкие выпады протопопа Аввакума соседствуют с внимательным отношением к риторике выговских литераторов, результатом чего стало появление ряда старообрядческих риторических трактатов (см.: Поньрко 1981: 154–162; Вомперский 1988; Аннушкин 2003). А раскольники были агрессивными защитниками старого; тем более открытой к риторике была менее фундаменталистская часть московских книжников, та, что приняла реформы Никона.

Однако, снимая своей языковой формой (т. е. церковнославянским языком) напряжение между старым и новым подходами к слову<sup>9</sup>, церковнославянские риторические трактаты пасовали перед трудностями кооптирования русской культурой классической традиции. Сами они с ней были неразрывно связаны и даже в некотором роде ее представляли. Есть все основания предполагать, что все восточнославянские риторики на церковнославянском языке восходят к тем или иным западным источникам, нередко – к нескольким сразу. В одних случаях эти источники известны; так, первая восточнославянская риторика,

---

<sup>8</sup> Общую культурную ситуацию применительно к Украине см.: Ісіченко 2011. О новолатинской поэзии у восточных славян см.: Либуркин 2000. См. также: Живов, Успенский 2002: 461–531.

<sup>9</sup> Вопрос о принципиальном изменении отношения к слову и словесному творчеству, произошедшем в результате усвоения восточными славянами риторики, рассматривался, в частности, А. М. Панченко и Р. Лахманн. См.: Панченко 1973; Лахманн 2001.



так называемая Риторика Макария или Риторика 1620 года<sup>10</sup>, восходит к «Риторике» Ф. Меланхтона в ее сокращенном варианте, выполненном Л. Лоссием (Аннушкин 2006). В других – оригинал еще не установлен, хотя переводной характер трактата вряд ли вызывает сомнения, например «Риторика» М. Усачева (1699)<sup>11</sup>. Но сами собою являя классическую литературную традицию, трансформированную формой риторического трактата (как раз и являющегося одним из основных хранителей этой традиции), церковнославянские риторика этим и ограничивались. Перечень классических авторов в них был, как правило, крайне невелик, а иллюстративные примеры кратки и нередко анонимны. В ряде случаев их авторы, скорее всего опиравшиеся на латинский текст, существенно его сокращали. Примером здесь может послужить уже упоминавшаяся старообрядческая «Риторика в 5-ти беседах» (1706–1712). В. И. Аннушкин высказал предположение о зависимости некоторых ее частей, в том числе раздела о «внутренних местах» «Беседы III. О изобретении» от «De arte rhetorica...» Феофана Прокоповича (2-я глава II книги «Про подбор доказательств и про амплификацию»). Сравнение этих фрагментов сразу же наглядно показывает предельный лаконизм церковнославянского текста и полное отсутствие там примеров и даже упоминаний классических авторов. В старообрядческой риторике «внутренние места» просто перечисляются, тогда как Феофан не только дает им характеристики, но и снабжает их отсылками к классическим авторитетам (например, к Цицерону) и примерами из классических же авторов (того же Цицерона и Овидия).

Безусловно, старообрядческий трактат не является здесь безукоризненным примером, выговская «Риторика» «проникнута идеологией старообрядчества, в ней отсутствуют светские примеры <...>» (Аннушкин 2003: 195); другие церковнославянские риторика, в частности «Риторика» М. Усачева, в несколько большей мере открыты светской культуре<sup>12</sup>. Однако в

<sup>10</sup> См.: Вомперский 1988: 12–21; Аннушкин, Буланина 1993: 317–321. См. также комментированные издания: Die Makarij; Аннушкин 2006.

<sup>11</sup> См. о ней: Вомперский 1988: 70–72; Аннушкин 2003: 101–116. В настоящее время изучением данного текста занимается К. Н. Лемешев.

<sup>12</sup> Впрочем, не следует преувеличивать ориентацию на античные примеры и риторического трактата Усачева. К. Н. Лемешев, специально рассмотревший источник примеров в разделе «О схиматах», т. е. о риторических фигурах, пришел к заключению, что основным иллюстративным материалом в каждой статье являются тексты

целом и в них классическая традиция, с достаточной степенью полноты представленная в латиноязычных риториках, была почти не выражена. Одной из причин этого была трудность ее стилистического воплощения средствами церковнославянского языка. В данном отношении весьма показательна «Риторика» М. Усачева. В этом аспекте ее проанализировал К. Н. Лемешев, любезно разрешивший воспользоваться его наблюдениями<sup>13</sup>. В целом ряде случаев при описании фигур речи (раздел «О схиматах») Усачев приводит цитаты из наиболее известных римских риторик – из Цицерона, из Квинтилиана, из «Риторики к Гереннию»<sup>14</sup>, цитаты, в большинстве своем демонстрирующие трудности разного порядка, которые возникали перед переводчиком и которые он, по различным причинам не преодолел. Так, для иллюстрации фигуры «антистрофа» (в рукописи – «антистрофи»), которая состоит в конечном повторе слова или словосочетания в последовательности, состоящей из нескольких синтагм, у него приведен такой текст: «Римляне пенов правдою победиша, оружием победиша, щедростию победиша»<sup>15</sup> (л. 127 об.). Это – перевод примера из «Риторики к Гереннию», в которой он иллюстрирует ту же фигуру (ее латинское наименование в «Риторике к Гереннию» – *conversio*): «*Poenos populus Romanus institia vicit, armis vicit, liberalitate vicit*» (Rhet. Her. IV.XIII.19). Невнятность церковнославянского примера здесь обусловлена незнанием исторических реалий, а точнее, отсутствием соответствующих эквивалентов в русской культуре: читателям начала XVIII столетия, не осведомленным об источнике данной фразы, трудно (чтобы не сказать – невозможно) было догадаться о тех, кто Усачевым был обозначен как «пены».

---

Священного Писания: Евангелий, Псалтири, некоторых ветхозаветных текстов. Ситуация, мало отличная от старообрядческой риторики.

<sup>13</sup> Следующий ниже текст о риторике Усачева написан в соавторстве с К. Н. Лемешевым.

<sup>14</sup> Можно с почти полной вероятностью утверждать, что Усачев позаимствовал данные примеры из того (пока еще не установленного) риторического сочинения, которое послужило основным источником его труда; обращение его непосредственно к указанным источникам невозможно и по причине крайней скудости сведений о них в России того времени, и потому, что противоречит обычной практике написания классических риторических трактатов.

<sup>15</sup> Цитируемый список «Риторики» Усачева хранится в Государственном историческом музее (Москва), в Щукинском собрании, № 803. Примеры из него приводятся в упрощенной орфографии, листы указываются после цитаты.



В других случаях «темнота» церковнославянского текста обусловлена тем, что переводчик запутался, переставляя компоненты фразы, в результате чего смысл если и не утрачивается вполне, то, во всяком случае, лишается афористической ясности, свойственной латинскому оригиналу. Это происходит, в частности, в описании фигуры «антиметабола», где Усачев использует известный афоризм, также восходящий к «Риторике к Гереннию», но более известный в формулировке Квинтилиана: «Non, ut edam, vivo, sed, ut vivam, edo» (Quint. Inst. IX, 3, 85). В церковнославянском же переводе противопоставление пропадает, и сентенция теряет свой антитетический характер: «Не да ям живу, но живу да ям» (л. 132). Встречаются у Усачева и более отчетливые примеры утраты церковнославянским текстом смысла. Разъясняя дополнительной иллюстрацией ту же фигуру «антиметабола», он берет ее, опять-таки, из «Риторике к Гереннию». Под его пером, здесь явно неловким, латинское изречение «Poëma loquens pictura, pictura tacitum poëma debet esse» (Rhet. Her. IV.XXVIII.39) приобретает следующий вид: «История – глаголющее есть письмо, письмо же молчащее есть история» (л. 132).

Все эти примеры позволяют с достаточным основанием сказать, что церковнославянские риторические трактаты, являющиеся порождением классической риторической традиции и ее отдаленным эхом в воздухе русской культуры XVII – начала XVIII века, с этой классической традицией русскую словесность непосредственно почти не знакомили и ее туда не вводили. Сведения о том, какие авторы составляют данную традицию, каково ее словесное воплощение в текстах разных типов, можно было получить только в латиноязычных риториках. В восточнославянском литературном сознании второй половины XVII – первой трети XVIII столетия классическая традиция была представлена лишь в латиноязычном своем воплощении.

## 5

«Краткое руководство к красноречию...» М. В. Ломоносова сложившуюся ситуацию полностью и бесповоротно изменило. В нем классическая европейская традиция была явлена не только опосредованно – через форму риторического трактата, – но предстала сама по себе, в прямом своем выражении: как совокупность классических авторов и как череда образцовых примеров, показывающих те качества художественной речи (в разных ее жанровых и стилистических вариантах), которые и дела-

ют автора образцовым и которым следует подражать, стремясь достигнуть показанного в трактате совершенства. И такое достижение для русских авторов, как свидетельствовало «Краткое руководство...», вполне возможно, так как классическая традиция раскрыла себя в нем средствами русского языка, тем самым показав его возможности, не уступающие потенциям основного языка, в пределах которого она жила в течение многих веков в Европе и в облики которого она вошла в русскую культуру, – латыни<sup>16</sup>. Более того, ломоносовский трактат стремился продемонстрировать, что и русская словесность (как новолатинская и новые западноевропейские литературы), а не только язык, имеет отношение к классической традиции, что и у словесности уже имеются классические образцы.

Это было достигнуто благодаря некоторой совокупности использованных Ломоносовым стратегий – достаточно различных. Прежде всего, обе плоскости классической традиции – образцовые авторы и необходимые жанры – были продемонстрированы если и не с необходимой полнотой, то почти в достаточном виде. Оговорка касается жанров – некоторые из них действительно охарактеризованы полно, например притча (басня), разные формы литературных разговоров и многие другие; в иных же случаях Ломоносов ограничивается упоминанием и предельно лаконичным указанием на природу жанра, да и то последнее – не всегда. Это, возможно, вызвано предполагаемым намерением Ломоносова написать продолжение «Краткого руководства...» – поэтику, намерением, которое (если оно и вправду у него было) осталось неосуществленным. Однако беглость характеристик, иногда принимающая вид простых перечислений, в некоторой степени искупается примерами, в качестве которых приводятся образцы разных жанров – фрагментарно, а иногда и полностью.

Что же касается авторов, определяющих классическую традицию, то их перечисление едва ли не исчерпывающе<sup>17</sup>. Кроме этого, в «Кратком руководстве к красноречию...» иллюстративный материал обладал особой полнотой. Своим количеством (о качестве речь пойдет ниже) он не только несопоставим с

---

<sup>16</sup> Об идее величия русского языка у Ломоносова говорилось неоднократно и с разной оценочной составляющей. См., как один из возможных примеров: Живов 1996.

<sup>17</sup> Список названных Ломоносовым в «Кратком руководстве...» авторов и количество их упоминаний см.: Западов 1979: 151.



предшествующими риторическими сочинениями на церковно-славянском языке, но ничуть не уступал (а нередко и превосходил) и восточнославянские латиноязычные трактаты, и трактаты западные (см.: Западов 1979: 138–157; Бухаркин 2013: 41–49).

Наконец, – и это, вероятно, самое главное – классическая традиция была представлена как *своя* для русской литературы. Она раскрылась в ломоносовском трактате не как внеположный русскому слову эстетический идеал, который необходимо продемонстрировать в его неположности, т. е. на собственном его языке – латинском, а как образец, восходящий к этому внеположному идеалу, но ныне переводящий его в русское словесное пространство и могущий быть выраженным русским словом.

Пожалуй, два основных обстоятельства делали возможным такой сдвиг. Во-первых, языковая фактура текста – как теоретической его части, так и примеров, что имеет первоочередное значение. Благодаря стилистическому совершенству последних, прежде всего в том случае, если они представляли собою переводы античных авторов, греко-римское наследие оказалось вполне адекватно воплощенным средствами русского языка; оно как бы входит в саму его ткань<sup>18</sup>. Более позднее высказывание Ломоносова – «сильное красноречие Цицероново, великолепная Virгилиева важность, Овидиево приятное витийство не теряют своего достоинства на российском языке» (Ломоносов 2011: 306) – имплицитно уже присутствует в «Кратком руководстве к красноречию...», а если выразиться точнее – риторический трактат своей стилистической энергией дает основания для только что приведенного пассажа из «Российской грамматики» (1757). Так, Ломоносов с легкостью преодолевает те трудности, перед которыми пасовал, например, М. Усачев. Вызвавшую у Усачева затруднение сентенцию Квинтилиана: «Non, ut edam, vivo, sed, ut vivam, edo» (Quint. Inst. IX, 3, 85), с которой тот не вполне справился (о чем уже шла речь выше) он передает следующим образом: «Не для того живем на свете, чтобы насыщаться, но для того насыщаемся, чтобы жить» (Ломоносов 2011: 220)<sup>19</sup>. В ломоносовском переводе отточенное противостояние двух частей данного высказывания полностью сохраняется, причем Ломоносов не стремится копировать стилистическую структуру подлинника (в отличие от Усачева). Это приво-

<sup>18</sup> Пользуюсь, с его любезного разрешения, выразительной формулировкой К. Н. Лемешева.

<sup>19</sup> Данное сопоставление указано мне К. Н. Лемешевым.

дит к очевидным потерям, значительно ослабляет отчетливый параллелизм латинского образца, что связано с утратой звуковых созвучий, столь важных оригиналу. Но взамен приходит естественность словесного выражения идеи, обусловленная, в первую очередь, иным, нежели у Квинтилиана, принципом синтаксической конструкции, отказывающимся от простой имитации, но требующим учета специфики собственного языка. Не робкое копирование чужой языковой формы, а стремление передать суть латинского изречения, сохраняя его гномическое совершенство, сохранить при помощи тех средств, которые наиболее «сродственны» создаваемому им самим новому русскому языку – вот чем руководствовался Ломоносов. Это ему удавалось: русский литературный язык в ломоносовском его понимании, одним из первых развернутых манифестаций которого как раз и стало «Краткое руководство к красноречию...», предстал как язык, способный выражать смыслы, соединяющие тех, кто говорит на нем, с европейской культурой и ее колыбелью – культурой античной<sup>20</sup>. Последняя оборачивалась, также, колыбелью и русской культуры, которая тем самым приобщалась к классической литературной традиции в качестве органичного ее продолжения, новейшей ее части.

## 6

Таков первый фактор, определивший произведенный Ломоносовым сдвиг. Второй располагался в несколько иной плоскости – плоскости авторитетных авторов. В качестве таковых в «Кратком руководстве ...» приводятся преимущественно античные писатели; если опираться на подсчеты А. В. Западова (1979: 151), то по частотности их упоминаний выстраивается следующий ряд (привожу далеко не все упоминаемые Ломоносовым имена): Цицерон, Вергилий, Овидий, Демосфен, Курций Руф, Сенека Старший, Марциал, Гомер, Плутарх, Лукиан и т. д. Также упоминаются новые европейские авторы (Эразм Роттердамский, Камюэнс и др.) и греческие Святые Отцы (Иоанн Златоуст, Григорий Назианзин и т. п.). Античные образцы, однако, безусловно преобладают. Во всяком случае, сам Ломоносов считал именно так. Он заблуждался; в глубоко содержательной статье А. А. Костина и С. И. Николаева «Неучтенный источник Риторика Ломоносова («Оратор без подготовки» М. Радау)» выяв-

<sup>20</sup> Вновь использую выражение К. Н. Лемешева.



лены и западноевропейские источники некоторых стихотворных примеров (Костин, Николаев 2013: 41–53). Но для Ломоносова эти источники оставались скорее всего неизвестными. Во всяком случае, давая в качестве иллюстрации к «замысловатым идеям» (§ 139 главы 7 «О изобретении витиеватых речей» части I «О изобретении») двустишие «Без всякой мы вины...», являющееся сокращением эпиграммы Дж. Оуэна (1564–1622/1628), известного новолатинского английского писателя, он автора не указывает. А в § 133, приводя в пример создания «витиеватых вещей» 6-стишие фламандского новолатинского же поэта Бернарда ван Баухюйсена (1575–1614/1619) «На белых волосах у Аппия зима...», он приписывает ее Марциалу («Пример из Марциала» – Ломоносов 2011: 161). Поэтому не будет излишней смелостью повторить, что для поэтических (а, следовательно, наиболее авторитетных) примеров он выбирал произведения античных авторов, но – как говорилось – с одним исключением. Исключением этим он был сам. И это имело огромное значение – собственные стихи тем самым ставились Ломоносовым в один ряд с поэтами, представляющими классическую традицию.

Причины, подвигнувшие Ломоносова на подобный поступок, не лишенный вызова, хотя и вполне вписывающийся в литературные нравы эпохи, были, очевидно, достаточно разнообразны. Но важнее результат дерзновенного этого поступка. Он состоял в том, что русская уже литература (а не один язык) обнаружила в себе – в творчестве самого Ломоносова – классическое начало; в ней существуют произведения того уровня, что соответствует высшему регистру классического слова и потому она может восприниматься как подлинная (и равноправная с другими европейскими литературами) наследница античности. Русская словесность предстала в ломоносовском сочинении как прямое порождение и развитие словесности греко-римской, а поэтический язык этой литературы – как самый непосредственный наследник языков классической древности, если иметь в виду античную поэзию, то латыни. Он, собственно говоря, и был тем же классическим языком; недаром его посредством в «Кратком руководстве...» заговорила не только «русская камена» (В. Ходасевич), но и поэты римские и греческие. Для обозначения данного грандиозного события наиболее подходит известное выражение Л. В. Пумпянского: «...восторг перед Западом вдруг (взрыв) перешел в восторг перед собой, как западной страной» (Пумпянский 2000: 54).

Внешним выражением подобной позиции стал отказ от параллельных текстов: Ломоносов приводит только переводы примеров, игнорируя оригиналы. Такое решение было достаточно неординарным – и для России, и для Запада<sup>21</sup>. Оно имело и еще одно – и тоже крайне важное – культурное последствие. Благодаря тому, что все литературные иллюстрации давались в «Кратком руководстве...» на русском языке, стиралась грань между двумя основными авторитетными началами, доселе важными русскому сознанию: между античной и святоотеческой традициями, традициями не в смысле перечня имен, но традициями в более глубоком смысле (о котором речь шла в начале работы) – как совокупности образцовых, абсолютно совершенных текстов. Имена, воспринятые от античной традиции, в том числе, имена языческих богов и античных героев как раз могли смовмещаться с библейской и святоотеческой традицией (Живов, Успенский 2002: 461–531). Но вот литературная классическая традиция античного мира у восточных славян с библейско-христианской традицией не корреспондировала.

Как говорилось выше, данная оппозиция предшествующими риторическими трактатами не была снята. Латиноязычные риторика внутри себя данное противоречие снимали, однако они в целом воспринимались – вначале как прямо противостоящие, затем как *чужие* – стержневому началу национальной традиции. Церковнославянские риторика, совершенно напротив, национальному духовному стержню соответствовали, но были не в силах «привить классическую розу» к славянскому «дичку» (В. Ходасевич). Ломоносов же это противоречие снял: благодаря его «Краткому руководству к красноречию...», всё в котором было явлено посредством русского языка – в том числе и литературные иллюстрации разного рода и генезиса, – классическая традиция предстала в единстве своих, ранее неслиянных, начал – греко-римского и святоотеческого; и то, и другое выражалось в ломоносовской Риторике одним языком, причем тем языком, который делал эту единую теперь, благодаря ему, классическую традицию – одновременно классической, т. е. внеположной себе как любой абсолютный идеал, и своей.

---

<sup>21</sup> См. об этой проблеме: Бухаркин 2013: 45–47. Интересную параллель к Ломоносову, требующую осмысления, представляет решение А. Д. Кантемира отказаться от латинских оригиналов при подготовке издания переводов посланий Горация. См. об этом начинании: Алексеева 2013: 5–25.



## 7

Сдвиг в русском литературном сознании, произведенный «Кратким руководством к красноречию...», был чрезвычайно значительным и вызвал далеко идущие культурные последствия. Первым – и, очевидно, важнейшим – из них стало ощущение наличия собственной, русской, составляющей классической традиции. Именно – национальной составляющей классической традиции; последняя (как и прежде) воспринималась как абсолютная сверхнациональная ценность, но ее сверхнациональность не препятствует отдельной литературе внести в нее собственный вклад, приобретающий, тем самым, наднациональную и вневременную ценность, т. е. ценность абсолютную. Русская словесность ныне такой вклад внесла, поэтому и среди русских авторов есть те, что могут быть причислены к разряду классических. Конкретным образом это проявилось в послеломоносовских риторических трактатах; в них в качестве образцовых примеров начинают появляться фрагменты из произведений русских авторов. Ранее такое почти не встречалось, чтобы не сказать – не встречалось вообще. Даже имена русских писателей, за редчайшими исключениями, не упоминались. Показательным здесь является отказ Ломоносова включить в риторический трактат указание на Феофана Прокоповича (см.: Ломоносов 2011: 690–691). После «Краткого руководства к красноречию...» положение меняется, причем первым из оказавшихся классиком авторов стал Ломоносов – между прочим, косвенное свидетельство особой роли, сыгранной его риторикой в процессе, так сказать, русификации классической традиции. Например, в «Кратком руководстве к оратории российской...» Амвросия (Серебренникова) (1778) в 7-й и 8-й ее главах (соответственно «О фигурах вообще и о фигурах речений» и «О фигурах предложений») отрывки из ломоносовских сочинений (преимущественно из од, надписей, панегирической прозы, т. е. «Слов...») приводятся значительно чаще (30 раз), нежели иллюстрации, позаимствованные из других образцовых писателей; для примера, – А. П. Сумароков цитируется 4 раза, Цицерон – тоже 4, Вергилий – 3, Марциал, Эразм Роттердамский, Плиний – по одному и т. д. (Амвросий 1778: 121–150)<sup>22</sup>. Здесь, так же как и у Ломоносова, русская литература мирно соседствует с

<sup>22</sup> Надо иметь в виду, что данный трактат прямо ориентирован на «Краткое руководство...» М. В. Ломоносова и очень во многом от него непосредственно зависим.

римскими и новолатинскими авторами в качестве представительницы классической тенденции; но по сравнению с поворотным в интересующем нас отношении ломоносовским текстом круг русских классических авторов у Амвросия расширен – прежде всего за счет А. П. Сумарокова и митр. Платона (Левшина). И пусть это расширение количественно не очень существенно, но значение его крайне важно, так как свидетельствует о развитии идеи, внесенном ломоносовским поворотом – то, что у Ломоносова было заявлено как возможность, представленная лишь его собственными поэтическими усилиями, в «Риторике» Амвросия получает вид уже начавшей реализовываться потенции, приведшей к появлению пусть и небольшого, но списка собственных классических авторов. Таким образом, классическая традиция начала заявлять о своем функционировании в качестве традиции на русской почве. Дальнейшим результатом этого должно было стать ее расширение. Это и происходит: в риториках самого конца XVIII – первой трети XIX века русский сегмент классической традиции всё расширяется за счет включения в него новых авторов и начинает потеснять античную и западноевропейскую ее части. Некоего предела данное движение достигает в «Общей риторике» Н. Ф. Кошанского (1829): из 16 постоянно цитируемых там авторов, долженствующих своими произведениями показать литературные образцы, только один – Цицерон – относится к той классической традиции, которую русская культура начинала усваивать с середины XVII века. Остальное составляют русские имена.

И здесь возникает вторая важнейшая проблема, в которой можно видеть в известном роде последствие произведенного Ломоносовым переворота: проблема критериев отнесения автора к классической традиции. Пока классическая традиция была внеположна национальной словесности, подобного вопроса не возникало: авторитетные авторы находились в наднациональной риторической традиции, представленной чередой продолжающих друг друга риторических трактатов. Но кого из русских литераторов следует причислить к классикам? Здесь требовалось выработать принципы отбора. Определение таких принципов происходило, безусловно, стихийно и неосознанно, к тому же было лишено последовательности и системности; многое определялось индивидуальными предпочтениями, часто случайными и нелегко объяснимыми, как, например, цитирования в «Общей риторике» Н. Ф. Кошанского М. Н. Баккаревича (1775–



1819, которого, при некоторых его достоинствах, трудно, все же, назвать образцовым автором. И все же основной принцип формирующегося нового подхода ощутить можно; его следует определить как эстетический, что для той эпохи также означало и в некотором роде вкусовой. Писатели начинают причисляться к классическому уровню, исходя из художественного своего совершенства, определяемого создателем риторического труда. Это сдвинуло риторику в сторону эстетики, предполагающей, кроме других своих задач, и анализ произведений искусства с целями выявления их степени соответствия прекрасному. Подобное проникает и в риторику, ранее, так сказать, в «чистом» своем варианте такие задачи перед собой не ставившую. Теперь же они могут в риторических трактатах возникать; иногда в них эксплицируются поиски принципов определения иерархического статуса текстов. Так, в «Правилах высшего красноречия» (1792, опубл. в 1844) М. М. Сперанского производятся достаточно развернутые (если иметь в виду объем книги в целом) анализы Вергилия (фрагмента из IV книги «Георгик», посвященный разлуке Орфея и Эвридики), комедии Теренция, оды Ж.-Б. Руссо «На счастье...» в переводах Ломоносова и Сумарокова, причем в случае Вергилия и Теренция разбирается латинский текст. В риторический трактат, тем самым, начинает входить аналитическое начало, и он приобретает некоторые черты учебника словесности, усиленные разделами, посвященными понятию вкуса (у того же Сперанского ему посвящены 6 глав). Все это начинает размывать риторический трактат, лишая его внутренней четкости и определенности, характерных для предшествующих эпох.

Конечно, деконструирующие строгость риторической теории черты трактатов конца XVIII – начала XIX века прямо не производны от сдвига, осуществленного в русской риторике Ломоносовым. Они от него непосредственно не зависят, а отражают общее движение поздней европейской риторической мысли (имею в виду XVIII столетие); на Западе подобное происходило уже давно. Однако в пределах русской культуры данный процесс в известном смысле все же восходит к Ломоносову; значительно позже, нежели в других европейских литературах, но совершенно блистательным образом он изменил языковую форму классической традиции и, тем самым, ее соотношение с национальной словесностью. Классическая традиция стала органической частью русской литературы – как это было и в

Европе – и русская литература пошла по той же дороге, что и западные ее сестры, в том числе – и по дороге разрушения классической риторики.

### Литература

- Аверинцев 1996 – Аверинцев С. С. Риторика и истоки европейской литературной традиции. М., 1996.
- Алексеева – Алексеева Н. Ю. Примечания Антиоха Кантемира к «Письмам Горация» // XVIII век. Сб. 27: Пути развития русской литературы XVIII века. СПб., 2013. С. 5–25.
- Амвросий 1778 – Амвросий (Серебренников). Краткое руководство к оратории российской... М., 1778.
- Аннушкин 2003 – Аннушкин В. И. Русская риторика: исторический аспект. М., 2003.
- Аннушкин 2006 – Аннушкин В. И. Первая русская риторика XVII в.: Текст. Перевод. Исследование. 2-е изд. М., 2006.
- Аннушкин, Буланина 1993 – Аннушкин В. И., Буланина Т. В. Макарий // Словарь книжников и книжности Древней Руси. Вып. 3 (XVII в.). Ч. 2: И–О. СПб., 1993. С. 317–321.
- Буланин 1991 – Буланин Д. М. Античные традиции в древнерусской литературе XI–XVI веков. München, 1991.
- Бухаркин 2013 – Бухаркин П. Е. «Краткое руководство к красноречию...» М. В. Ломоносова: литературный статус и некоторые проблемы филологического изучения // Филологическое наследие М. В. Ломоносова. СПб., 2013. С. 41–49.
- Вомперский 1988 – Вомперский В. П. Риторика в России XVII–XVIII вв. М., 1988.
- Грабович 1997 – Грабович Гр. Авторство и авторитет у Ивана Вишенського: діалектика відсутності // Грабович Гр. До історії української літератури. Київ, 1997. С. 260–277.
- Живов 1996 – Живов В. М. Язык и культура в России XVIII века. М., 1996.
- Живов 2002 – Живов В. М., Успенский Б. А. Метморфозы античного язычества в истории русской культуры XVII–XVIII вв. // Живов В. М. Разыскания в области истории и предыстории русской культуры. М., 2002. С. 461–531.
- Западов 1979 – Западов А. В. Поэты XVIII века: М. В. Ломоносов. Г. Р. Державин. М., 1979.
- Кнабе 1999 – Кнабе Г. С. Русская античность. М., 1999.
- Костин, Николаев 2013 – Костин А. А., Николаев С. И. Неучтенный источник Риторика Ломоносова («Оратор без подготовки» М. Радау) // Чтения отдела русской литературы XVIII века. Вып. 7: М. В. Ломоносов и словесность его времени. Перевод и подражание в русской литературе XVIII века. СПб., 2013. С. 41–53.
- Курціус 2007 – Курціус Е.-Р. Европейська література і латинське середньовіччя. Львів, 2007.
- Лахманн 2001 – Лахманн Р. Демонтаж красноречия. СПб., 2001.



- Либуркин 2000 – Либуркин Д. Л. Русская новолатинская поэзия: материалы к истории XVII – перв. пол. XVIII века. М., 2000.
- Ломоносов 2011 – Ломоносов М. В. Полн. собр. соч.: в 10 т. 2-е изд., испр. и доп. Т. 7. СПб., 2011.
- Маслюк 1983 – Маслюк В. П. Латиномовні поетики і риторики XVII – першові половини XVIII ст. та їх роль у розвитку теорії літератури на Україні. Київ, 1983.
- Панофски 1998 – Панофски Э. Ренессанс и «ренессансы» в искусстве Запада. М., 1998.
- Панченко 1973 – Панченко А. М. Русская стихотворная культура XVII века. Л., 1973.
- Пиккио 2003 – Пиккио Р. Slavia Orthodoxa: литература и язык. М., 2003.
- Понырко Н. В. Учебники риторики на Выгу // ТОДРЛ. Т. XXXVI. М.; Л., 1981. С. 154–162.
- Пумпянский 2000 – Пумпянский Л. В. К истории русского классицизма // Пумпянский Л. В. Классическая традиция: Собрание трудов по истории русской литературы. М., 2000.
- Сивокінь 2001 – Сивокінь Гр. Давні українські поетики. 2-е вид. Харків, 2001.
- Степун 1998 – Степун Ф. А. В. Ф. Комиссаржевская и М. Н. Ермолова // Степун Ф. А. Встречи. М., 1998.
- Трофимук 2013 – Трофимук М. С. Роль античной литературы в формировании теории литературы в Украине XVII–XVIII вв. (на материале курсов словесности Киево-Могилянской Академии) // Филологическое наследие М. В. Ломоносова. СПб., 2013. С. 166–192.
- Яковенко 2006 – Яковенко Н. Нарис Історії середньовічної та ранньомодерної України. 3-е вид. Київ, 2006.
- Die Makarij – Rhetorik („Knigi sut’ ritoriki dvoji po tonku v voprosech spisanny...“) / Von R. Lachmann. Köln; Wien, 1980 (Slavistische Forschungen. Bd 27/1. Rhetorica slavica. Bd 1).
- Ісіченко 2011 – Ісіченко Ігорь (архиеп.). Історія української літератури: Епоха бароко XVII–XVIII ст. Львів; Київ; Харків, 2011.

### **P. E. Bukharkin. Lomonosov’s Rhetoric and Classical Tradition in Russian Literature**

The article considers Eastern Slavonic rhetorical treatises of the 17<sup>th</sup> – the beginning of the 19<sup>th</sup> centuries. The main focus is made on Lomonosov’s Rhetoric and its role in the change of the linguistic code.

*Keywords:* Lomonosov, rhetoric, classical tradition, treatise, ancient literature, Latin, Church-Slavonic language, Russian language.